



Евгений ЕВТУШЕНКО,
специально для «Новой»

РЕПОРТАЖ ПО ПАМЯТИ

Двадцать лет назад на дачу Пастернака в Переделкине, где после смерти поэта продолжали жить его близкие, начался, говоря по-нынешнему, наезд. Однако в итоге события повернулись таким образом, что уже в 1990 году здесь открылся государственный музей. Это было событие не просто литературное, но и неопровержимо историческое. Так уж повелось у нас — литература и история неразъемны. Дом Пастернака стал первым музеем, созданным в знак запоздалого, вынужденного признания великим поэтом и гражданином России человека, который при жизни был оклеветан как антипатриот.

Таких музеев и памятников будет еще много. Не давая спать нашей совести, звенят крошечные колокольчики в переделкинском музее Окуджавы, а в шестидесятых его называли в газетах «пошликом с гитарой». Моя землячка со станции Зима, фронтовая медсестра, влюбила в стихи Цветаевой еще на войне, когда чудом к ней попал в руки зачитанный чуть не до прозрачности дореволюционный сборник. А после ранения ей выписали ордер на комнату в коммуналке, и чудом она оказалась в том самом доме на Борисоглебском, где когда-то жила со своим мужем молодая Марина. Как будто провидение соединило все эти случайности, и, выполняя его волю, никому не известная зиминка после многих лет хождений по всяким кабинетам добила своего: есть дом-музей бездомной всю вторую половину жизни величайшей женщины-поэта.

В доме Пастернака, поддерживаемом благодаря Наташе Пастернак — вдове сына Бориса Леонидовича, Лени, — все сохранилось так, как было, когда я благоговейно переступил порог этого дома в 1959 году: первый советский крошечный телевизор с увеличительной линзой, где, кажется, вот-вот возникнут наши первые дикторы — Нина, Аня, Валия; громоздкий холодильник ЗИЛ, в котором, как всегда, стоит волшебное грузинское вино от семьи Табидзе; рисунки отца поэта, висящие на стенах столовой, где когда-то Пастернак, по-мальчишески радуясь, праздновал известие о Нобелевской премии, втайне предчувствуя, какое несчастье пришло в его дом вместе со счастьем этого признания; на втором этаже — кирзовые сапоги, в которых

непритязательный в быту гений окучивал картошку на огороде, а над сапогами и над китайским прорезиненным плащом «Дружба» — дешевенькая буклешная кепка, какую носили в Москве пятидесятых таксисты и слесари.

Когда Пастернака хоронили, его гроб провожали около двух тысяч человек. Фотографы в штатском без зазрения совести вплотную подходили к каждому человеку и снимали лица крупным планом. Надеюсь, что все эти уникальные снимки сохранились. Какой тогда может быть издан уникальный альбом честнейших лиц эпохи! Тех, кто не побоялся проводить оклеветанного поэта в последний путь.

«Что же сделал я за пакость, / Я убийца и злодей? / Я весь мир заставил плакать / Над красой земли моей», — с недоуменной раненностью спрашивал Пастернак. И в этом не было никакого преувеличения. Исповедальный роман «Доктор Живаго» заново открыл всем народам вочеловеченную Россию, отделенную от остального мира.

Дом-музей Пастернака стал одним из центров всероссийского и всемирного паломничества интеллигенции, всех, для кого живая, перешептывающаяся с ними Книга с большой буквы является учебником жизни, завещанием, «кубическим куском горячей, дымящейся совести», по выражению Пастернака.

Нынешней молодежи невозможно и представить, какая ожесточенная борьба шла двадцать лет назад за превращение этой так называемой писательской дачи в музей, который теперь неотъемлем от Переделкина. Но среди писателей-переделкинцев были люди, которые чуть ли не насмерть стояли, чтобы не позволить этому музею быть.

Признаюсь, поначалу меня удивляло, что, избегая, правда, громких заявлений, этому всячески противодействовал обычно весьма осторожный, оглядчивый и казавшийся отнюдь не злым человеком первый секретарь СП, член ЦК КПСС Георгий Марков.

Все стало яснее, когда сразу после провалившегося путча мне попал в руки среди случайно не утащенных из сейфа документов черновик письма Маркова, который, оказывается, и вызывал Пастернака на печально знаменитое собрание под председательством С.С. Смирнова, агрессивно поддерживавшее исключение Пастернака из Союза писателей. Копия этого письма с авто-

графом Маркова была немедленно напечатана в бесстрашном «Огоньке» конца 80-х. А раз уж я упомянул С.С. Смирнова, придется рассказать одну любопытную историю.

Когда судьба занесла меня в 1968 году в Летицию, маленький колумбийский поселок охотников за крокодилами на Амазонке, местный библиотекарь, обожатель поэзии, похвастался, что я здесь не первый русский. В Летиции, оказывается, за пару лет до меня побывала делегация советских писателей. У библиотекаря не оказалось ни одной русской книги, кроме «Доктора Живаго» на испанском. Тогда руководитель советской делегации расписался под своим приветствием латиноамериканским читателям на этой книге,

который ныне признается в любви к нему, уникальна, бесценна!».

Травлей Пастернака опозорили себя многие писатели, и они противились созданию музея. Канонизация поэта угрожала высветить участников той всесоветской вакханалии. Не последним поводом была и просто-напросто зависть к славе Пастернака.

Сначала хотели «замотать» дело под тем предлогом, что если открывать музеи всем жившим в Передел-

показал себя как последний трус. Это он зашторил наглухо окна, когда мимо проносили гроб Пастернака. Был случай, когда секретарь ЦК Демичев по поручению Брежнева приехал к Федину и спросил, что делать с только что арестованными Синявским и Даниэлем, напечатавшими под псевдонимами свои произведения за рубежом: устроить товарищескую разборку в СП или передать дело в уголовный суд? И Федин, которого Юрий Олеся метко

Совесть,
с которой легко можно
договориться, совестью быть
перестает

Двадцать лет назад громили дом
Пастернака в Переделкине.
Сейчас здесь один из лучших
литературных музеев

Дача непреложных показаний.

попутно выражая самое большое уважение к таланту Пастернака.

Я взглянул на эту надпись — и глазам своим не поверил: там была подпись С.С. Смирнова, автора благородной книги о героях Брестской крепости, который, однако, вскоре опозорил себя участием в шельмовании Пастернака. А через несколько лет он же попытался исключить из партии Окуджаву, что означало по тем временам полный общественный ostracism.

Когда я это все рассказал колумбийскому библиотекарю, он сначала хотел брезгливо выдрать из книги лист с подписью Смирнова, но потом передумал: «О, теперь я сообразил: книга с автографом человека, исключавшего Пастернака из Союза писате-

кине крупным писателям, что поселок постепенно «превратится в колумбарий». Чуть-чуть не подвели было Чингиз Айтматов — решили дать ему дом Пастернака.

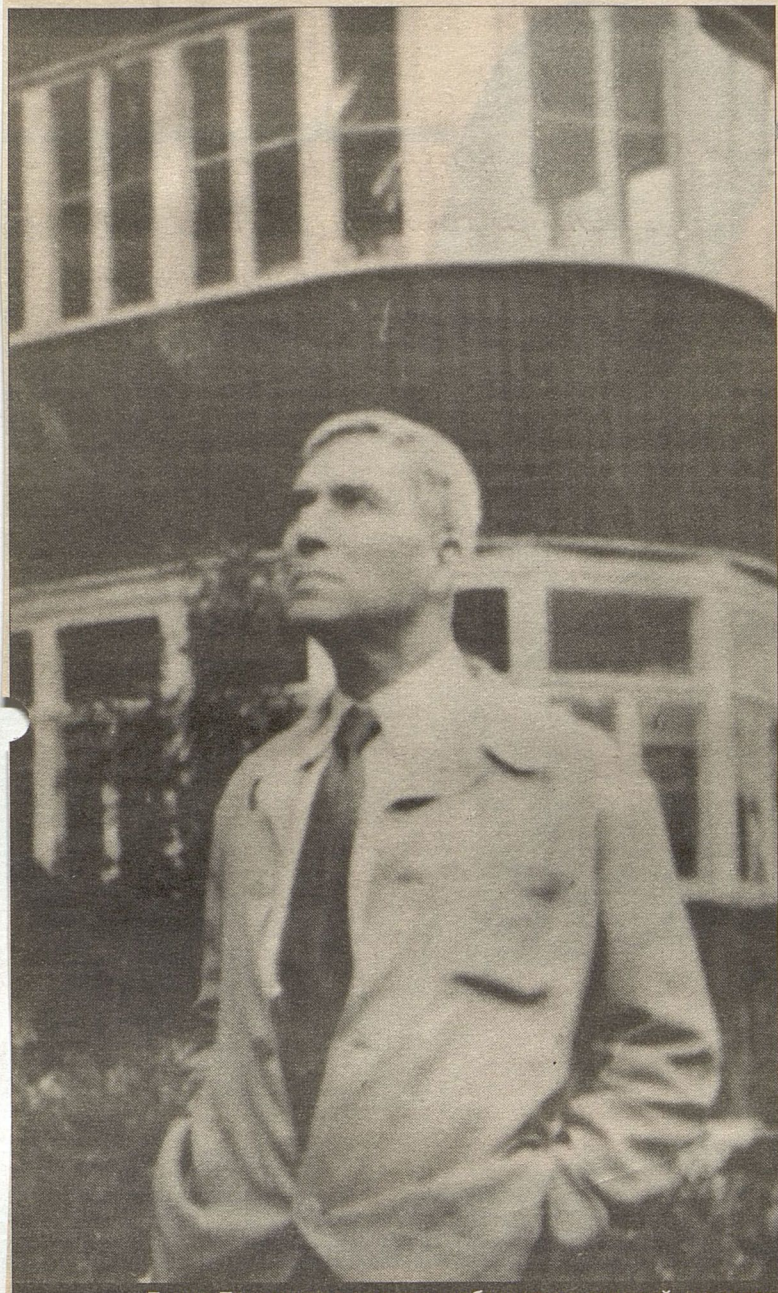
Сначала Чингиз, не будучи в курсе борьбы за музей, считал это даже за честь. Вскоре Айтматов понял, в каком двусмысленном положении он может оказаться, и решительно отказался от дачи Пастернака, поддерживая идею создания музея.

Тогда пошли в ход другие доводы — и все опять-таки от братьев-писателей. Аргументы были, например, таковы: «У нас нет музея Федина, но именно он, а не Пастернак, столько лет был председателем Союза писателей СССР». Федин между тем не однажды

назвал «чучелом орла», засучил лапками: «Да что вы, что вы, Петр Нилыч! Почему Союз писателей должен заниматься подобной грязью? Только суд! Да-да — уголовный суд!».

Неназываемой кандидатурой, конечно, брезжила в отдаленной перспективе и фигура самого Георгия Мокеева Маркова. Последний хитроумный план был устроить на даче Пастернака, чтобы никого не обидеть, общий музей, посвященный всем писателям, жившим в Переделкине, в том числе, конечно, и ему, Маркову, требовавшему в 1958 году обязательной явки поэта на собрание писательской инквизиции.

Когда я пришел к секретарю ЦК КПСС М.В. Зимянину с просьбой помочь пробить разрешение на музей



Борис Пастернак в период «нобелевских гонений» у своего переделкинского дома

Пастернака через голову секретариата СП, он мне сказал и, кажется, искренне: «Даю вам слово: никто в ЦК не будет против музея Пастернака. Нам уже этот вопрос осточертел. Но в каком мы положении? Мы между двух огней. Вот приходите вы — и наседаете... А вчера у меня была целая троица других известных писателей — и тоже наседали, только, видите ли, наоборот: музей Пастернака якобы расколел писательскую организацию. Пробеите это через писателей, добейтесь, чтобы большинство поддержало. А мы вам палки в колеса ставить не будем».

Я решил использовать предстоявший съезд писателей — пан или пропал. В перерывах ходил по коридорам с письмом, призывающим открыть

музей Пастернака, и приставал ко всем кому ни попадя. Писатели, как все люди, — животные стадные. Видят, что кто-то что-то подписывает, — и самим как-то вроде неудобно не подписать. Словом, я собрал более ста подписей — кажется, сто двадцать. Но и сто с лишним подписей — это все-таки не большинство съезда.

Тогда я зачитал это письмо с трибуны, сделав его центром моего выступления, живописал разгром дачи Пастернака, пьяных грузчиков, роняющих роуль, на котором играли Нейгауз и Рахманинов; в общем, давил на все педали, взывал к совести, а потом вытащил делегатский мандат и предложил всем проголосовать за музей Пастернака такими же манда-

тами. Руки поднялись, а вот сколько — кто знает. Но действовать надо было решительно, не впадая ни в какое затяжное подсчитывание.

— Явное большинство! — заявил я, опуская свой делегатский мандат в нагрудный карман пиджака. — Спасибо за поддержку, — и сошел с трибуны наигранно бравым шагом.

Поднявшийся на трибуну после меня Василий Белов не удержался от недостойных комментариев по поводу роуля Пастернака, а потом переключил разоблачительный пафос, кажется, на аэробику, развращающую вологодских доярок. Но дело с музеем Пастернака все-таки сдвинулось с мертвой точки, медленно и верно пошло, хотя его несколько раз и пытались притормозить.

Получив наконец разрешение на музей, Наташа Пастернак отдала распоряжение заодно вместе с домом отремонтировать и скамью у могилы Пастернака, где обычно собирались думающие люди для доверительных разговоров, надеясь, что здесь-то уж их не подслушают. Каково же было удивление и Наташи, и рабочих, когда в бетонных ножках деревянной скамьи обнаружилось тщательно вмонтированное туда подслушивающее устройство.

Провода, проложенные под землей, тянулись к одной из воспетых мною в стихах трех сосен над могилой, где на вершине стояло трансляционное устройство. Оно аккуратно передавало все разговоры на дачу одного из секретарей Союза писателей, где он разрешил поставить будку, чтобы профессионалы подслушивания могли посменно заниматься скрупулезной записью разговоров у могилы. Какое счастье, если эти записи сохранятся для потомков! Им тогда многое удастся понять.

Пастернак не был склонен к самогероизации, но жить и «ни единой долькой не отступаться от лица» было пушкинским грациозным героизмом во времена тирании, в тысячу раз более страшной, чем самодержавие Николая I.

Главное испытание в жизни — пожизненно: это испытание нашей совести. Ее все время испытывают многочисленные страхи — за жизнь близких, за собственную жизнь, за положение в обществе. Страх потери работы превращается в подхалимство, страх потери власти — в ее удержание даже ценой потери совести, страх не присоединиться вовремя к толпе — в потерю собственного лица.

Совесть, с которой легко можно договориться, совестью быть перестает.

● Талса, Оклахома



Фото из архива Н.А. и Е.Л. Пастернак. Публикуется впервые